

Содержание

Хронология	7
<i>Б. Бойд. Конверты для «Писем к Вере»</i> <i>Перевод А. Глебовской под ред. О. Ворониной</i>	13
Письма к Вере	41
<i>Б. Бойд. Постскрипtum: архив памяти</i> <i>Перевод А. Глебовской под ред. О. Ворониной</i>	43 ¹
Комментарии <i>Перевод А. Глебовской под ред. О. Ворониной</i>	435
Благодарности	627
Эдидионные принципы	629
Указатель имен	633
Указатель произведений В.В. Набокова	652

Письма к Вере

1. Ок. 26 июля 1923 г.

Солье-Пон, Домэн-де-Больё – Берлин

Не скрою: я так отвык от того, чтобы меня — ну, понимали, что ли, — так отвык, что в самые первые минуты нашей встречи мне казалось: это — шутка, маскарадный обман... А затем... И вот есть вещи, о которых трудно говорить — сотрешь прикосновением слова их изумительную пыльцу... Мне из дому пишут о таинственных цветах. Хорошая ты...

И хороши, как светлые ночи, все твои письма — даже то, в котором ты так решительно подчеркнула несколько слов. Я нашел и его, и предыдущее, по возвращению из Marseille, где я работал в порту. Это было третьего дня — и я решил тебе не отвечать, пока ты мне не напишешь еще. Маленькая хитрость...

Да, ты мне нужна, моя сказка. Ведь ты единственный человек, с которым я могу говорить — об оттенке облака, о пеньи мысли и о том, что, когда я сегодня вышел на работу и посмотрел в лицо высокому подсолнуху, он улыбнулся мне всеми своими семечками. Есть крошечный русский ресторанчик, в самой грязной части Marseille. Я харчил там с русскими матросами — и никто не знал, кто я и откуда, и сам я дивился, что когда-то носил галстук <sic> и тонкие носки. Мухи кружились над пятнами борща и вина, с улицы тянуло кисловатой свежестью и гулом портовых ночей. И слушая, и глядя — я думал о том, что помню наизусть Ронсара и знаю названия черепных костей, бактерий, растительных соков. Странно было.

Очень тянет меня и в Африку, и в Азию: мне предлагали место кочегара на судне, идущем в Индо-Китай. Но две вещи за-

вернуться на время в Берлин: первая — то, что маме
пусть очень одиноко придется, — вторая... тайна — или,
вернее, тайна, которую мне мучительно хочется
разрешить...] Выезжаю я 6-го, — но некоторое время
пробуду в Ницце и в Париже — у человека, с которым я
учился вместе в Cambridge'e. Ты, вероятно, знаешь его.]
Таким образом, в Берлине я буду 10-го или 11-го...]
И если тебя не будет там, я приеду к тебе, — найду...
Во всяком, моя
страшная радость, моя потная нога. Вот тебе стихи:

Визит

Зовешь, — а в деревце гранатовом соловья
полаивает, как щенка.
Во вечерней тишине так одиноко и звонко
луня цокает по плиткам.

Зовешь, — и плещет вода в ведре на газурь:
как гонимый твой, вода святая,
и в микроволновой печи, лоснящийся газурью,
луня, вонючая, дрожа.

Зима

Я стелю солью ухой капли толстые
и надуваю лед на скользящий теплый скат,
дым волосами сплюснутыми гнида
греетло солнце в воска как пахучих.

И я поплыв в вылающую тьму
дня потная, — под вязкий мехом тиллака,
под лепетом дремлет — и рот пурпурный Пака
приталася жадно к сердцу моему.

Я здесь очень много написал. Между прочим — два драмы
"Дюдушка" и "Польса". Первая будет в Амманакто
"Гаканон" — вторая в ситд. комедии "Русский мисси".

В.

ставляют меня вернуться на время в Берлин: первая — то, что
маме уж очень одиноко приходится, вторая... тайна — или, вер-
нее, тайна, которую мне мучительно хочется разрешить... Вы-
езжаю я 6-го, — но некоторое время пробуду в Ницце и в Па-
риже — у человека, с которым я учился вместе в Cambridge'e.
Ты, вероятно, знаешь его. Таким образом, в Берлине я буду
10-го или 11-го... И если тебя не будет там, я приеду к тебе, —

найду... До скорого, моя странная радость, моя нежная ночь.
Вот тебе стихи:

Вечер

Зовешь, — а в деревце гранатовом совенки
полаивает, как щенок.
В вечерней вышине так одинок и звонок
луны изогнутый клинок.
Зовешь, — и плещет ключ вечернею лазурью:
как голос твой, вода свежа,
и в глиняный кувшин, лоснящийся глазурью,
луна вонзается, дрожа.

Зной

Я стер со лба уколы капель жгучих
и навзничь лег на скользкий теплый скат,
где голосами сплюснутых цикад
гремело солнце в сосенках пахучих.

И я поплыл в пылающую тьму
дня южного — под пьяный плеск тимпана,
под лепет флейт, и рот пурпурный Пана
прижался жадно к сердцу моему.

Я здесь очень много написал. Между прочим — две драмы, «Дедушка» и «Полюс». Первая будет в альманахе «Гамаюн» — вторая в след.<ующем> номере «Русской мысли».

В.

2. 8 ноября 1923 г.

Берлин — Берлин, Ландхаусштрассе, 41

8-х1-23

Как мне объяснить тебе, мое счастье, мое золотое, изумительное счастье, насколько я весь твой — со всеми моими воспоминаниями, стихами, порывами, внутренними вихрями? Объяснить — что слова не могу написать без того, чтобы не слышать, как произнесешь ты его, и мелочи прожитой не могу

вспомнить без сожаленья — такого острого! — что вот мы не вместе прожили ее, будь она самое, самое личное, непередаваемое, а не то просто закат какой-нибудь, на повороте дороги, — понимаешь ли, мое счастье?

И я знаю: не умею я сказать тебе словами ничего, а когда по телефону — так совсем скверно выходит. Потому что с тобой нужно говорить — дивно, как говорят, например, с людьми, которых больше нет, — дивно, понимаешь, в значенье чистоты и легкости и душевной точности, а я — je ratauge ужасно. Меж тем тебя можно ушибить некрасивым уменьшительным — оттого что ты вся такая звонкая, как морская вода, хорошая ты моя.

Я клянусь — и...¹ клякса тут ни при чем — я клянусь всем, что мне дорого, всем, во что я верю, — я клянусь, что *так*, как я люблю тебя, мне никогда не приходилось любить, — с такою нежностью — до слез — и с таким чувством сиянья. На этом листке, любовь моя, я как-то (Твое лицо межд)² начал писать стихи тебе, и вот остался очень неудобный хвостик — я спотыкнулся. А другой бумаги нет. И я больше всего хочу, чтобы ты была счастлива, и мне кажется, что я бы мог тебе счастье это дать — счастье солнечное, простое — и не совсем обыкновенное.

И ты должна простить меня за мелочность мою — за то, что я с отвращением думаю о том, как — practically — я буду завтра отсылать это письмо, а вместе с тем готов отдать тебе всю кровь мою, коли нужно было бы, — трудно это объяснить — звучит плоско, — но это так. Вот, скажу тебе — любовью моей можно было бы заполнить десять веков огня, песен и доблести — десять целых веков, громадных и крылатых, полных рыцарей, въезжающих на пламенные холмы, — и сказаний о великанах — и яростных Трой — и оранжевых парусов — и пиратов — и поэтов. И это не литература, ибо, если перечтешь внимательно, увидишь, что рыцари оказались толстыми.

Нет — я просто хочу тебе сказать, что без тебя мне жизнь как-то не представляется — несмотря на то, что думаешь, что мне «весело» два дня не видеть тебя. И знаешь, оказывается, что вовсе не Edison выдумал телефон, а какой-то другой амери-

1 В рукописи клякса.

2 Начало стихотворной строки написано перпендикулярно основному тексту, который ее окружает, и взято в скобки.

У меня променя за. Ви свои прятки
 облаки. Как же мне уткаться ^{от} тебе,
 мое скажи, мое солнце? Понимаешь
 если бы я меньше любил бы тебя, то
 я должен был бы уткаться. А так —
 — просто смысла нет. И умирать мне
 не хочется. Есть два рода, "будь что будет"
 Божья воля и волево. Прости меня — но я
 твоя вторая. И ты не можешь отойти
 у меня втра в то о чем я думаю
 боюсь. такое это было бы счастье...

Вот опять — хвостик. Это кусочек
 моей потки — не возмездий в нем.
 Записал как-то чтобы не забыть
 и вот теперь — заказ.
 Все это я пишу лежа в постели,
 умираю листок обг оролкну
 книжку. Когда я дошло к концу
 работано то у одного из портретов
 на стене — (какая то проба ушка
 кешего) да ласовые
 кристаллы преклоняются шлея.
 Очень хорошо. Это я дошел до кони
 этого хвостика; Очень милая
 любовь моя, стоконной кони...

старинная медитативность рини
 сталине протота... тини сриу зрели;
 стали накатанная поветомы

Не знаю разберешь ли ты это бураковское
 письмо... но все равно... Я люблю тебя,
 Буду ждать тебя завтра в 11. вечера — а не то
 позвони мне позвоню в 2 часа. Б.

канец — тихий человечек, фамилию которого никто не помнит. Так ему и надо.

Слушай, мое счастье, — ты больше не будешь говорить, что я мучу тебя? Как мне хочется тебя увести куда-нибудь с собой — знаешь, как делали этикие старинные разбойники: широкая шляпа, черная маска и мушкет с раструбом. Я люблю тебя, я хочу тебя, ты мне невыносимо нужна... Глаза твои — которые так изумленно сияют, когда, откинувшись, ты рассказываешь что-нибудь смешное, — глаза твои, голос твой, губы, плечи твои — такие легкие, солнечные...

Ты пришла в мою жизнь — не как приходят в гости (знаешь, «не снимая шляпы»), а как приходят в царство, где все реки ждали твоего отраженья, все дороги — твоих шагов. Судьба захотела исправить свою ошибку — она как бы попросила у меня прощенье за все свои прежние обманы. Как же мне уехать от тебя, моя сказка, мое солнце? Понимаешь, если б я меньше любил бы тебя, то я *должен* был бы уехать. А так — просто смысла нет. И умирать мне не хочется. Есть два рода «будь что будет». Безвольное и волевое. Прости мне — но я живу вторым. И ты не можешь отнять у меня веры в то, о чем я думать боюсь — такое это было бы счастье... Вот опять — хвостик.

Да: старомодная медлительность речей,
стальная простота... Тем сердце горячей:
сталь, накаленная полетом...

Это кусочек моей поэмы — не вошедший в нее. Записал как-то, чтобы не забыть, и вот теперь — заноза.

Все это я пишу, лежа в постели, опирая листок об огромную книжку. Когда я долго ночью работаю, то у одного из портретов на стене (какая-то прабабушка нашего хозяина) делаются пристальные пренеприятные глаза. Очень хорошо, что я дошел до конца этого хвостика; очень мешал.

Любовь моя, спокойной ночи...

Не знаю, разберешь ли ты это безграмотное письмо... Но все равно... Я люблю тебя. Буду ждать тебя завтра в 11 ч. вечера — а не то позвони мне после 9 часов.

В.

3. 30 декабря 1923 г.

Прага – Берлин

30-XII-23

Praha Třída Svornosti, 37

Smichov

Дорогое мое счастье,

какая ты была прелестная, хорошая, легкая на этом суматошном вокзале... Ничего я не успел сказать тебе, счастье мое. Но из окна вагона я видел тебя, и почему-то, глядя, как ты стоишь, локтями прижимая шубу и засунув руки в рукава, — глядя на тебя, на желтое стекло в вокзальном окне за тобой и на твои серые ботинки — один в профиль, другой en trois quarts, — почему-то именно тогда я понял, как я люблю тебя, — и затем ты так хорошо улыбнулся, когда заскользил поезд. А знаешь — ехали мы совершенно исключительно плохо. Вещи наши были рассыпаны по всему поезду, и до границы пришлось торчать стоймя, на сквозняке. Мне так хотелось показать тебе, как забавно пристал к внутренней части тех, знаешь, кожаных фартуков, которые соединяют вагоны, снег мерзлый, похожий на серебряную кукурузу, — ты бы оценила.

Представь себе три комнатки: мебель — некрашенный стол, дюжина стульев, таящих занозы, семь постелей — сплошь деревянных, без матрацов, с перекладинами вместо днища, и одной кушетки, купленной по случаю. И все. На перекладины протягивается тюфяк — но чувствуешь насквозь деревянные ребра эти, так что утром такая ломота... а в кушетке обитают клопы, которые исчезли было после скипидарной атаки, но вот сегодня появились на потолке, откуда они будут ночью, как жаворонки, падать на спящих — на меня и на Кирилла: я ему рассказал, что двенадцати (через «е» правильнее) клопов довольно, чтобы умертвить человека, но, вспомнив, как ты чудно говоришь: он ведь маленький! — взял, как говорится, слова свои обратно. Добавь ко всему этому неистовый холод в комнатах и нежеланье двух изразцовых печь топиться (что, конечно, для них было бы неприятно), и ты получишь изображение нашей жизни здесь. Денег нет совершенно, вилок тоже, так что приходится питаться бутербродами. При первой возможности я перевезу маму обратно в Берлин, куда сам приезжаю 5 апреля — минус во-

семьдесят пять дней (высчитала?). Прагу я еще не видал — да вообще мы с нею в ссоре.

Слушай: как только буду иметь возможность, позвоню тебе отсюда по единственному телефону, находящемуся в этом городе: в доме Крамаржа. Постараюсь — двадцать третьего <декабря> (ст.<арый> ст.<иль>) в 7 часов.

Я тебя очень люблю. Нехорошо люблю (не сердись, мое счастье). Хорошо люблю. Зубы твои люблю. Сейчас я работал, сидел у меня Морн, — он просит передать тебе «сердечный привет». Любовь моя, знаешь, мне просто очень скучно без тебя. У меня такое чувство, будто ты все стоишь на вокзале, как я видел тебя на последях, — точно так же, как тебе, вероятно, все кажется, что я стою у вагонного окна, в котелке. До суда — испанский твой роман прелестен, дальше — плохо. Завтра передам пакет.

Как мне хотелось бы, чтоб ты сейчас мне говорила — проникновенно так: но ты ведь мне обещал?! Люблю тебя, мое солнце, моя жизнь, люблю твои глаза — закрытые, все хвостики твоих мыслей, твои протяжные гласные, всю душу твою от головы до пят. Я устал. Ложусь. Люблю тебя.

В.

4. 31 (?) декабря 1923 г.

Прага — Берлин, Ландхаусштрассе, 41

3<1>-XII-23

Třída Svornosty, 37

Smichov Praha

От тебя еще ни слова, моя любовь, — вероятно, завтра будет. А если нет? Знаешь, я не думал, что я так заскучаю по тебе («Ах, ты не думал!..»). Нет, — это просто оборот речи, чтобы сказать тебе, моя хорошая, мое счастье, how I long for you (как ты мне нужна). А меж тем я отсюда выберусь только 17-го — хочу кончить моего Морна, а то еще один переезд, и он рассыплется. Это человек, который совершенно не переносит чувство новоселья. Вчера за весь день я написал всего *две строчки*, и то я их вычеркнул сегодня. Сейчас пошло неожиданно хорошо, так что завтра кончу первую сцену третьего акта. Я почему-то очень touchy относительно этой вещи. Зато с каким наслаждением я читал ее

двум людям — тебе и вот на днях маме. Третий человек, который понимал каждую запятую, оценивал мне дорогие мелочи, — был мой отец. Мама всегда вспоминает это, когда я читаю что-нибудь, — и больно.

Только что я написал Татаринovu, прося его 6-го или 7-го поместить в «Руле» объявление, что я (имя рек) ищу комнату с пансионом в русской семье. Иначе выйдет слишком дорого. Твой пакет я, к сожаленью, оставил в поезде. Я в «полном отчаяньи»! На самом же деле я третьего дня отнес его по адресу, — который ты написала едва слышным шепотом... Знаешь, что мне сейчас захотелось? Видеть, как ты приседаешь на одно колено, всходя с мостовой на панель (Аставь!..). Я тебя сегодня так люблю, что, кажется, пишу глупости.

Вот что я пока заметил в Праге: очень много ломовых и на магазинах такие надписи, как когда француз вставляет в роман русские словечки, желая щегольнуть, — и щеголяет безграмотно. Кроме того, здесь есть широкая река — подо льдом. Кое-где расчищены площадки под каток. На каждом таком ледяном квадрате катается по одному мальчишке, ежеминутно шлепаясь. На него смотрят зеваки с громадного старинного моста, по которому влачится ломовик за ломовиком. У одного конца моста стоит толстый человек в мундире, и каждый прохожий должен платить ему медяк за право перехода на другую сторону. Обычай старинный, феодальный. Трамваи маленькие, краснобокие, и внутри, на крюках, висят последние журналы — для общего пользования. Хороший город?

Вчера мне один профессор рассказывал, что когда его дочке было всего несколько месяцев, она часто притворялась, что падает в обморок. Потом, когда она немного подросла, он ее пугал следующим образом: он сидит, читает, она играет на полу. Вдруг он опускает книгу, делает страшные глаза, проводит рукою по лбу и говорит медленно: «Знаешь, Машенька, я, кажется, превращаюсь в орла...» Она — в слезы: «Вот всегда тебе что-нибудь кажется, когда никого нет в квартире...»

Завтра в семь часов я постараюсь с тобой «созвониться». Это будет, вероятно, мучительно, — но мне хочется услышать хоть краешек твоего голоса. А что-то будет в Берлине, моя любовь? Поедешь ли ты со мной в Америку? О, если б ты знала, как мне противна этакая угловатая жизнь, денежная суета, отвратительные переводы, над которыми нужно корпеть, — и гроши, гроши...

А я ведь bourgeois в житейских вещах. Автомобили Крамаржа, его мраморная ванна, слуги — меня бесят... Buffon надевал кружевные маншеты <sic>, когда садился работать. Мне, понимаешь, нужны удобства не ради удобств, а затем, чтоб не думать о них — и только писать, писать — и развернуться, громыхнуть... А в конце концов — кто знает, — может быть оттого, что я пишу «Господина Морна», сидя в шубе на арестантской кровати, при свете огарка (это, впрочем, почти поэтично), он выйдет еще лучше. Не терпится мне прочитать тебе пятую сцену.

Знаешь ли ты, что ты — мое счастье? Ты вся создана из маленьких стрелчатых движений — я люблю каждое из них. Думала ли ты когда-нибудь о том, как странно, как легко сошлись наши жизни? Это, вероятно, у Бога, скучающего в раю, вышел пасьянс, который выходит нечасто. Я люблю в тебе эту твою чудесную понятливость, словно у тебя в душе есть заранее уготовленное место для каждой моей мысли. Когда Монтекристо <sic> приехал в купленный им дворец, он увидел, между прочим, на столе какую-то шкатулку и сказал своему мажордому, который приехал раньше, чтобы все устроить: «Тут должны быть перчатки». Тот просиял, открыл эту ничем не замечательную шкатулку, и действительно: перчатки. Я немного запутался в образе — но это как-то относится к тебе и ко мне. Знаешь, я никому так не *доверял*, как тебе. Во всем сказочном есть черта доверчивости.

Я боюсь, это вышло очень спотыкающееся письмо. И не совсем грамотное. Я за последнее время столько говорю пятистопным ямбом, что трудно писать прозу. Слушай: позвони как-нибудь на бывшую мою квартиру в полночь или даже позже. Я то же просил сделать Татариновых и Струве. Жильцов хочу обрадовать.

Целую тебя, мое счастье, — и ты помешать мне не можешь...

В.